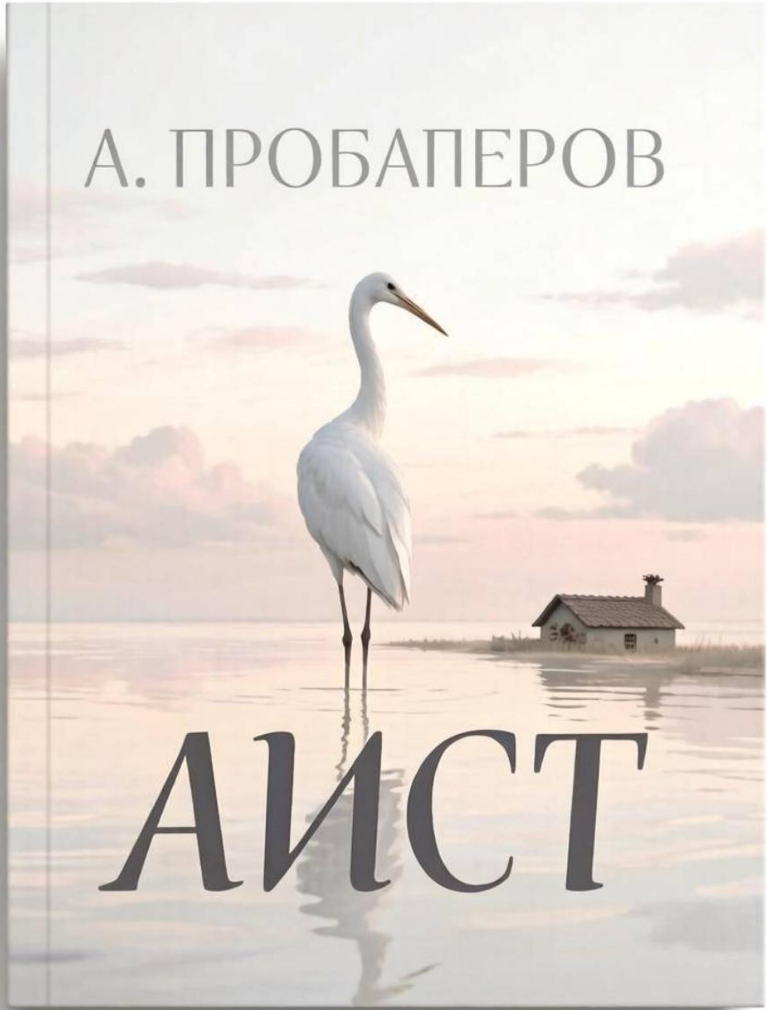
А. ПРОБАПЕРОВ



АИСТ

А Пробаперов

Аист

https://litres.ru/74734689
SelfPub; 2026

Аннотация

Профессор Гарварда Летабо знает: чтобы остановить войну, нужен всего один лист бумаги.

Покрытый веществом из квантово запутанных частиц, он может мгновенно менять текст на расстоянии. Одно письмо — и операция отменена.

Но у всякого вмешательства есть цена. Летабо отдаёт своё изобретение в руки военных — и понимает, что теперь оно принадлежит не ему. Может быть, навсегда.

Роман о вине, выборе и цене, которую платит человек, решивший не молчать.

Содержание

Глава 1. «Дом у реки» 4
Глава 2. «Летабо сегодня» 10
Конец ознакомительного фрагмента. 18

А Пробаперов
Аист

Глава 1. «Дом у реки»

Он не спал всю ночь.

Письмо было отправлено, и теперь он ждал, чем всё кончится. В комнате было тихо — так тихо, как бывает только в доме, где всё сделано из хорошего дерева и толстого стекла: ни скрипа, ни капли, ни шороха. Только дождь за окном и его собственное дыхание. На столе стояла чашка с чаем, налитым в полночь. Он не пил его. Он просто сидел и слушал тишину.

А потом, чтобы не сойти с ума, стал вспоминать.

Ему было сорок пять, и он попросил семью не готовить ничего сложного.

Это было странное решение для человека, который мог себе позволить многое — и иногда позволял. Он сказал жене: никакого дикого риса со спаржей и лесными грибами, никаких боулов с киноа, никаких омаров и винных пар. В этот раз он отказался даже от рагу Пойки-кос — того самого, которое мама всегда готовила на трёхногом котле, когда собирались гости, и которое он любил больше всего на свете.

Просто барбекю. Он сам его приготовит. И пиво — обычное, из ближайшего магазина.

Жена посмотрела на него внимательно, как смотрят на человека, которого давно знают и который вдруг говорит не то, что от него ждут, и ничего не сказала. Только кивнула.

Дом стоял на берегу Грейт-Уз, в Хэммингтон-Эбботс, и в тот вечер река была такой тихой, что в ней отражалось небо — целиком, от края до края, — и закат шёл по воде медленно, как будто не хотел уходить.

Он сидел на берегу, на траве, с бутылкой в руке, и рядом сидели те, кого он любил. Их было немного. Мама не приехала — уже прошло три года, как она умерла, и он до сих пор ловил себя на том, что хочет позвонить ей и рассказать, как прошёл день. Жена сидела рядом, положив голову ему на плечо. Дети играли у воды — младший бросал камешки, старшая что-то рисовала в блокноте. Друзья, которых редко удавалось собрать вместе, сидели вокруг стола, и кто-то уже открывал вторую бутылку, и кто-то смеялся, и этот смех шёл над водой, и в нём не было ничего, кроме тепла.

Он поймал себя на мысли, что счастлив.

Может быть, потому что закат был таким красивым. Или потому что он смотрел на него в окружении дорогих ему людей. А может, потому что всё это — усадьба в престижном районе недалеко от Кембриджа, дорогая еда, от которой он сегодня отказался, но главное — мог себе позволить, учёная

степень, работа в одном из лучших университетов мира — он заработал сам. Сам. Будучи уроженцем далёкого ЮАР, из маленькой рыбацкой деревушки под Кейптауном, честным трудом, никого не подставляя, не плетя интриг, не идя по головам.

Или потому, что все были живы-здоровы и у всех были счастливые лица.

Или от всего этого вместе.

А может быть, дело было в другом. Может быть, в нём вдруг проснулось то, что давно спало, — память о мальчишке, который сидел на горе и смотрел в небо.

Он вырос в Хаут-Бэе, и в двух шагах от их дома были горы. Не высокие, не снежные, а те, что спускаются к морю, — каменистые, зелёные, с тропинками, которые он знал наизусть. Он лазил туда мальчишкой, один или с соседскими ребятами, и садился на камне у обрыва, и смотрел вниз, на воду, и вверх, на небо.

Там было много птиц. Не тех, которых он потом видел на болотах Марави, — простых, морских, серых, в основном чаек с их кривыми клювами. Они кружили над водой и над скалами, и их было так много, что казалось, будто небо шевелится. Он смотрел на них часами. Он запоминал, как они складывают крылья, когда падают в воду, как выравниваются перед тем, как сесть на камень, как один раз — он до сих пор помнил этот раз — большой альбатрос пролетел так близко,

что он почувствовал ветер от его крыльев на лице.

Он тогда закрыл глаза и представил, что летит. Не в самолёте, не во сне — просто летит, как они, над водой, над скалами, над домом, где мама готовила рагу на трёхногом котле. Он летел и смотрел на всё сверху, и ему казалось, что он понимает то, чего не понимают люди, которые не умеют летать.

Мама иногда находила его там. Она не ругалась. Она садилась рядом и молчала, и они смотрели на птиц вдвоём.

— Ты когда-нибудь улетишь, — сказала она однажды. — Только не забывай, откуда.

Он не забыл.

А ещё он помнил другое. Не про птиц, не про горы — про то, что случилось в их деревне, когда ему было девять.

У соседей загорелся сарай. Огонь пошёл быстро, потому что было сухо, и ветер был сильный, и все выбежали на улицу — кто с ведром, кто с одеялом, кто просто смотрел. Летабо тоже выбежал. Он стоял у забора и смотрел, как огонь перекидывается на крышу дома, и как соседская девочка — ей было столько же, сколько ему, — плачет и что-то кричит, а её держит мать. Он хотел подойти. Он хотел что-то сделать. Но он был маленький, и взрослые бегали мимо него, и никто его не замечал, и он стоял у забора и не мог ничего.

Потом приехали пожарные. Потом дом сгорел. Потом соседи уехали. И Летабо остался с этим чувством — не вины, а беспомощности. Он не мог помочь. Он был слишком мал. И

кто-то из взрослых, проходя мимо, сказал ему: «Ты мал ещё, чтобы помочь. Иди домой».

Он пошёл домой. Но запомнил.

Он запомнил, как это — стоять и не мочь. И потом, всю жизнь, когда он видел что-то, что не мог изменить, — это чувство возвращалось. Оно было тихое, ровное, похожее на зубную боль, которая не проходит. И он знал, что единственный способ от него избавиться — это сделать хоть что-нибудь. Не обязательно всё. Хоть что-нибудь.

И тогда он невольно запел.

Тихо, себе под нос, сначала — «Shosholoza». Ту самую, ритмичную, с типичными африканскими напевами, о том, что надо идти вперёд и прокладывать путь тем, кто идёт следом. Ему её часто пела мама — ещё в Хаут-Бэе, когда он не знал, что такое Гарвард, и не знал, что такое другая страна. Она заметила его любознательность рано, и всегда верила, что сын достигнет больших высот. Иногда ей подпевали и близкие — обычно когда семья собиралась за столом по случаю очередной его победы: с отличием закончил школу, поступил в Кейптаунский университет, защитил докторскую, опубликовался в Science, получил приглашение выступить с лекцией на телевидении. И наконец — вершина, о которой он и мечтать не мог: его заметили и пригласили преподавать физику в Гарвард. Один из лучших, а может, и лучший университет мира. С потрясающим профессорским составом,

невероятной библиотекой и самым современным оборудованием, где он мог параллельно с преподаванием продолжать свои исследования.

Он допел до половины и замолчал.

Жена подняла голову.

— Почему ты остановился?

— Не знаю, — сказал он. — Просто захотелось помолчать.

Она не стала спрашивать. Она просто снова положила голову ему на плечо, и они сидели так, пока закат не погас.

Глава 2. «Летабо сегодня»

Утром он пришёл в университет раньше обычного.

Гарвард в семь утра — это не Гарвард. Кампус пустой, газоны ещё в росе, и старые кирпичные стены кажутся старше, чем днём, когда по ним скользит свет и по дорожкам идут студенты. Летабо любил это время. Он любил приходить, когда никого нет, и сидеть в своём кабинете, глядя в окно, пока внизу дворник собирает листья.

Кабинет был маленький, но его. На столе лежали бумаги, которые он не разбирал неделю, и стояла чашка с холодным кофе — вчерашняя. На полке над столом стояла фотография матери — та самая, где она смеётся на крыльце их дома в Хаут-Бэе, — и рядом с ней, в простой деревянной рамке, лежало перо. Белое, длинное, с чёрным кончиком. Он подобрал его на болоте в Марави, в прошлом году, и привёз домой, и поставил на полку, и с тех пор не трогал.

Он сел, включил лампу и открыл журнал, который собирался прочитать ещё в пятницу.

Не прочитал. Мысли были не здесь.

Перед лекцией он зашёл к коллеге — не по делу, а так. Коллега преподавал психологию, и они иногда пили кофе в перерыве между занятиями, и говорили о том, о чём не говорят с другими: о людях, о том, почему они делают то, что

делают, о том, как понять человека, который сам себя не понимает.

Коллега сидел за столом и смотрел в окно. На нём не было лица — того лица, с которым он обычно читал лекции, — и Летабо сразу это заметил.

— Что-то случилось? — спросил он.

— Ничего, — сказал коллега. — Всё в порядке.

Летабо не стал спрашивать. Он сел напротив, взял со стола чашку — пустую, — и сказал:

— Ты сегодня читаешь про эмоции?

Коллега посмотрел на него.

— Про эмоции, — сказал он. — А что?

— Ничего. Просто ты сам сегодня не очень эмоционален.

Коллега помолчал, а потом вдруг усмехнулся — коротко, невесело.

— У меня сын, — сказал он. — Ему семнадцать. Он не разговаривает со мной. Третий месяц. Я не знаю, что случилось. Я спрашиваю — он молчит. Я жду — он не приходит. Я не знаю, что делать.

Летабо кивнул.

— А ты пробовал не спрашивать?

— Что?

— Не спрашивать. Просто сидеть рядом. Молчать. Иногда человеку нужно, чтобы рядом был кто-то, кто не требует ответа.

Коллега смотрел на него долго.

— Ты это откуда знаешь?

— Не знаю откуда, — сказал Летабо. — Просто знаю.

Он вышел из кабинета и пошёл в аудиторию. Лекция начиналась в девять, и к девяти аудитория заполнилась. Студенты сидели, кто с ноутбуком, кто с бумажным блокнотом, и на лицах у них было то выражение, которое Летабо знал хорошо: как ни странно для университета такого уровня, но многие пришли не за знаниями, а за оценкой. Он не осуждал их. Он сам когда-то был таким.

Сегодня он читал про квантовую запутанность — третий курс, вводный уровень.

— Представьте две монеты, — сказал он, стоя у доски. — Вы подбрасываете их, и они всегда падают одной и той же стороной вверх. Всегда. Даже если вы разнесёте их на километр, на десять километров, на другой конец света. Если одна упала орлом — значит, вторая тоже орёл. Не потому, что они связаны верёвкой. Не потому, что кто-то подал сигнал. А потому, что они — одно целое, которое мы разделили только на вид.

Он помолчал.

— Это называется квантовой запутанностью. Звучит немыслимо, необъяснимо. И даже сам термин странный, нехарактерный для точной науки. Но это не фигура речи, а действительно реальный термин. Возможно, это самое невероятное во всей физике, и не исключено, что и в жизни. И

мы не понимаем, как именно это работает, за счёт каких механизмов, не понимаем пока даже, в какую сторону двигаться, чтобы это понять. Мы лишь случайно обнаружили этот эффект и знаем только, что это работает. И это, пожалуй, самое честное, что физика может сказать о мире.

Кто-то в заднем ряду поднял руку.

— Профессор, а это можно использовать для передачи информации?

Летабо посмотрел на него. Вопрос был правильным.

— Теоретически, — сказал он, — можно. Но не так, как вы думаете. Не как в фантастике. Это не мгновенная связь. Это… — он поискал слово, — это как если бы у вас был один лист бумаги, разорванный пополам, и вы писали на одной половине, а на другой появлялось то же самое. Только лист — не бумага, а вещество, состоящее из множества квантово запутанных частиц, или если всё же бумага, то она должна быть покрыта таким веществом. И писать надо не ручкой, а прибором, которого пока нет и который должен уметь изменять характеристики отдельных частиц, расположенных на одном из этих двух листов.

Где-то внутри ему очень захотелось похвастаться перед студентами своими исследованиями, рассказать, над сколь значимой для человечества задачей он сейчас трудится, но он не стал говорить, что этот прибор он сам пытается построить. Не потому, что это было секретом, а просто потому, что об этом рано было говорить.

После лекции к нему подошла девушка — из тех, кто сидит на первом ряду и задаёт вопросы, чтобы понравиться. Он знал этот тип. Она спросила что-то про запутанность, но в её вопросе не было вопроса — только желание, чтобы он заметил, как она старается.

Он ответил коротко и отошёл.

Он не любил это. Не потому, что она была плохой студенткой, а потому, что она была неискренней. Он всю жизнь ценил одно качество в людях — честность. С собой и с другими. И когда он видел, что человек говорит не то, что думает, чтобы произвести впечатление, — он чувствовал это сразу. Психология была его вторым увлечением, после орнитологии, и он хорошо понимал, когда им манипулируют.

Глава 3. «Халид»

Новости он слушал по утрам, за завтраком, и это была привычка, которую он привёз из Африки: там радио включали все, всегда, даже если ничего не происходило.

В то утро он налил себе кофе, сел у окна и включил.

Первые пять минут были обычными: погода, биржа, какое-то соглашение в Брюсселе. Он слушал вполуха, как слушают фон. Потом пошли международные новости, и диктор сказал: «В городе Халид, в регионе Сахель, продолжается гуманитарная катастрофа. По данным международных организаций, число погибших превысило семьдесят пять тысяч человек, раненых — сто семьдесят пять тысяч. Большинство

из них — женщины и дети. Разрушено более девяноста процентов жилого фонда. Районы, где ещё недавно жили люди, сравнены с землёй».

Летабо поставил чашку.

Он слышал про Халид и раньше. Конфликт тянулся годами, и в новостях о нём говорили регулярно — коротко, в конце блока, как говорят о погоде в стране, где никогда не был. Но сегодня он почему-то услышал это иначе. Может быть, потому что размеры цифр достигли таких величин, что мозг уже отказывался воспринимать их так, как принято упоминать в сводках — без имён, без лиц и без достаточной драмы. Может быть, потому что он вспомнил, как выглядит город, в котором давно не осталось ни одного целого дома.

Он включил другой канал, африканский — тот, который обычно смотрел по выходным, возможно, чтобы ещё и таким образом вспоминать о родине, — там говорили то же самое, но иначе. Там показывали не только статистику, но и кадры. Страшные кадры: детей с глазами, полными слёз, женщин, которые держали на руках умирающих детей, обломки домов, мужчину, который стоял на коленях посреди улицы и что-то говорил в камеру, и голос за кадром переводил: «Мы просим мировое сообщество остановить это. Мы просим помощи. Мы просим, чтобы нас услышали».

Летабо смотрел и чувствовал, как у него внутри что-то сжимается.

Он вспомнил это ощущение. Он видел похожие кадры в детстве — в Хаут-Бэе, когда по телевизору показывали голод в Сомали, войну в Руанде, что-то ещё, чего он не понимал, но что заставляло маму замолкать и смотреть в экран, не отрываясь. Тогда он не понимал, почему она молчит. Теперь понял.

Он выключил телевизор и просто сидел некоторое время в тишине.

А потом включил снова — уже другой канал, западный, — и стал ждать. Он ждал, что там скажут то же самое. Что покажут те же кадры. Что кто-то произнесёт те слова, которые он только что слышал: «остановить», «помочь», «услышать».

Он ждал двадцать минут.

За двадцать минут лондонский канал сказал о Халиде три раза. Первый раз — в начале блока, коротко: «Продолжается гуманитарная катастрофа в Халиде». Второй раз — в середине, когда говорили о поставках оружия в регион. Третий раз — в конце, когда диктор сказал: «Ситуация остаётся напряжённой», и перешёл к новостям спорта.

Ни одного лица. Ни одного голоса. Ни одного ребёнка. Ничего, что визуально “режет” и заставляет сопереживать.

Летабо сидел и смотрел на экран, и в нём поднималось что-то, чему он не сразу нашёл название.

Это было не возмущение. Возмущение — это когда ты знаешь, что прав, и хочешь, чтобы другие это признали. Это

было другое. Это было чувство человека, который всю жизнь беззаветно верил во что-то, а теперь увидел, что в чем-то ошибся, что его вера была “неполной” или не полностью честной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.